

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Елена Антоновна Шпаковская (г. рожд. 1921) — кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Уральского государственного университета. Годы активной преподавательской деятельности в УрГУ — 1945–1999. Работала над своими воспоминаниями, включающими разделы о детстве и юности, преподавательской и научной деятельности, литературной и культурной жизни Свердловска-Екатеринбурга, с 1992 по 2008 год. Воспоминания включают в себя несколько разделов, начиная с освещения истории университета в годы войны (1942–1945) и заканчивая обзором университетской жизни конца 1990-х гг. Из этого обширного материала мы отобрали лишь некоторые фрагменты, представляющие, как нам кажется, общезначимый интерес. Из уже опубликованных фрагментов воспоминаний см.: *Шпаковская Е. А. Ленинградские годы : Фрагмент воспоминаний // Кормановские чтения : ст. и материалы Межвуз. науч. конф. (Ижевск, апр., 2011) / ред.-сост. Д. И. Черашняя. Ижевск, 2011. Вып. 10. С. 355–382.*

Моя жизнь в Свердловске началась с сентября 1942 г., когда я пришла на 3-й курс историко-филологического факультета Уральского университета. С зачетной книжкой МГПИ (Московского государственного педагогического института) в руках стояла я перед деканом, милейшим и добрейшим Павлом Акимовичем Вовчком. И он, сверив сданные мной в пединституте экзамены и зачеты с учебным планом университета, понял, что академическую разницу составлял только один зачет, и меня зачислили на 3-й курс, дав направление в общежитие. Это общежитие находилось в самом центре города (ул. 8 Марта, 3), и здесь прошли долгие 18 лет моей сначала студенческой, а потом аспирантской и преподавательской жизни.

Война разделила мои студенческие годы на московский (1–2-й курсы) и свердловский (3–5-й курсы) периоды. Факультет, на котором я училась, был создан лишь в 1940 г.: один из его основателей,

И. А. Дергачёв, ушел на фронт; другой, П. А. Вовчок, был и декан, а позднее и завкафедрой, и прекрасный специалист по лингвистике. Я вошла в коллектив студентов в то время, когда здесь появились и другие эвакуированные: например, Рая Ушеренко (из Киева), с которой мы сблизились (потом она многие годы работала в Челябинском книжном издательстве и приезжала к нам в гости).

Я любила свое общежитие, этот небольшой двухэтажный дом старинной постройки. И до сих пор, гуляя по городу, подхожу взглянуть на него: люблю постоять у ограды Плотинки, где у нас бывали свидания с друзьями, и кажется, что дом все такой же, хотя там давно не живут студенты. Но деревья стоят все те же, такие же высокие, хотя и они словно постарели, как и мы.

* * *

Зима 1942–1943 гг. была чрезвычайно холодной, до 30 градусов. В общежитии было холодно, стояла буржуйка, на которой мы варили из муки суп-затируху. Утром рано перед занятиями в 7 часов по очереди бежали в магазин отоварить хлебные карточки, сразу на всю комнату; бывало, получишь свои 600 граммов, да еще с довесочком, идешь и жуешь. Счастье. Иногда я приезжала к тете Шуре на Уралмаш. И она, чем могла, подкармливала голодную студентку (кусочками хлеба с чаем). К ней я ездила и постирать бельишко, так как горячей воды в общежитии не было. Тетя Шура во время войны подрабатывала надомницей в швейной мастерской, шила солдатское нижнее белье для армии.

В воспоминаниях Зины Агеевой, моей однокурсницы, описан случай голодного обморока одной нашей студентки — тогда пришлось вызывать скорую помощь. Порой и у меня голова так кружилась, что надо было держаться за перила, чтобы не упасть в голодный обморок. Я простудилась, заболела, подморозила пальцы на ногах, лежала с высокой температурой, и меня спасала студентка Роза Хейфец. Не знаю даже, на каком факультете она училась, но жила она в нашем общежитии на первом этаже. Добрая душа, она организовала вызов врача, а кто-то пригласил потом преподавателя Немировскую. И я, полусидя в постели (у нас были двухэтажные железные кровати, мое место было внизу), сдавала зачет по русскому языку. Потом Роза,

которую я мало знала, подарила мне свою фотографию, и она до сих пор хранится у меня в альбоме.

Эти годы — 1942–1943 — тяжелейшие в истории войны. Когда к лету 1943-го года немцы дошли до Сталинграда, стало страшно. Но затем именно тут, в конце концов, они потерпели сокрушительное поражение, и наступил перелом в войне. Студенты помогали фронту, чем могли: выступали перед ранеными в госпиталях, собирали теплые вещи (этим руководила наша сокурсница Нина Полозкова) и в каждую посылку вкладывали в варежку письмо или записку для солдата. Зимой расчищали железнодорожные пути от снежных заносов, для этого студенческие группы снимали с занятий. Были и шутки по поводу неумных призывов одного преподавателя-историка, возглавившего на собрании: «Сдадим “хвосты” в подарок Сталинграду». Много говорили о втором фронте, ожидали, что союзники наконец-то выступят на помощь, но союзники медлили, и у студентов было немало иронии по этому поводу. Я несколько раз сдавала кровь для раненых солдат.

На четвертом курсе мы, группа девушек, во время каникул по приглашению главного врача (мамы Ани Гольдберг) работали сестрами-воспитательницами в шарташском доме ребенка, где находились эвакуированные дети, дети-сироты, дети-инвалиды дошкольного возраста. Порой страшно было на них смотреть. Был у меня в группе мальчик Ваня, лет 6–7, хромой. У него был очень маленький костыль, ему трудно было ходить, приходилось сгибаться почти вдвое. Он не мог встать в хоровод, когда я устраивала игры. Мои заявки сделать новый большой костыль ребенку так и не были выполнены. Не знаю, был ли тогда в Свердловске протезный завод, но только и раненые солдаты подолгу не могли дожждаться протезов и костылей. Помню, приходила комиссия, проверяя, какие занятия с детьми мы ведем. Я сказала о Ване, а он, грустный и обозленный, утирал слезы, подпрыгивал на одной ноге и стремился хоть немного походить и поиграть в «каравай».

* * *

Но как бы ни была тяжела бытовая сторона, духовно мы жили глубокой и сосредоточенной жизнью, готовились к окончанию университета. На Урал был эвакуирован Эрмитаж, в тылу работали театры. Когда я приехала в Свердловск, здесь заканчивались гастроли

МХАТа, наверное, в то время я и смотрела у них блестящий спектакль «Горячее сердце» с И. Москвиным в главной роли (до сих пор на лекциях по А. Н. Островскому вспоминаю этот спектакль). А эвакуированный в наш город Театр Советской армии поставил в Доме офицеров пьесу А. Гладкова о войне 1812 г. «Давным-давно». Молодая Л. Добржанская играла Шуру Азарову, и ее «Колыбельная» в сцене с куклой мне запомнилась навсегда. Когда у меня родилась дочка, я ей (а спустя много лет и внуку) часто напевала эту «Колыбельную» («Лунные поляны...»). Удивительно трогательная мелодия!

* * *

Теперь я расскажу о нашей учебе и преподавателях, работавших в университете во время войны.

Вскоре после поступления в университет я отправилась в Свердловскую публичную библиотеку имени Белинского (в просторечии — «Белинку»). И горжусь тем, что вот уже 55 лет, начиная с 1942-го г., я ее постоянный читатель. До сих пор помню, как тогда в холодном зале библиотеки увидела получающего книги высокого и элегантного седого благообразного человека с золотым обручальным кольцом на пальце. Это был наш профессор Леонид Петрович Гроссман. Известный филолог, специалист по творчеству Пушкина и Достоевского, он был среди эвакуированных преподавателей нашего факультета. Его книжку о Пушкине в серии «ЖЗЛ» я читала с огромным интересом: это не просто увлекательная биография, но и анализ творческого пути художника. А вот Достоевским в те годы почти никто не занимался, лекций о нем почти не было (только чуть-чуть в обзорном вступлении) — он был не тем автором, которого принимали официозные вузовские программы, время его признания было еще впереди. Но мне все же хотелось прочесть у Достоевского что-нибудь, кроме «Преступления и наказания», и я пыталась осилить «Бесов». Очень долго их читала и мало что понимала: осознать в те годы трактовку революции как «бесовщины» было выше моих сил. Об этом никто и не смел говорить, такая точка зрения противоречила общепринятой.

Лекции Гроссмана были интереснее лекций другого эвакуированного профессора — Николая Арденса, у которого я слушала в 1943 г. спецкурс по творчеству Льва Толстого (листки конспекта этого спецкурса до сих пор хранятся в моем архиве).

У нас на филфаке в 1940-е гг. были сильные лингвисты. Самыми интересными были латинисты Павел Александрович Шуйский и Александр Лаврович Вознесенский. Шуйский перевел «Одиссею» Гомера и получил в 1949 г. университетскую премию за нее, вел латынь и греческий язык, античную литературу (но эти предметы я сдала еще в МГПИ). Вознесенский перевел «Илиаду», но умер, не дождавшись публикации.

С большим интересом я ходила на практические занятия по польскому языку, которые вел Павел Акимович Вовчок, а иногда, мне кажется, вела и Александра Петровна Громова, его жена. Я тотчас выучила наизусть начало стихотворения Мицкевича «Свитезянка», которое мне очень нравилось:

Jakisz ten chlopiec, pekny i mlody?
Jaka to obok dziewczica?
Brzegami sinej Switezi wody
J da przejrz ksiezgica...

А еще была Агния Ивановна Данилова, она преподавала русский язык и славилась тем, что в 1920-е гг. в Петербурге знала некоторых писателей и, между прочим, рассказывала о той проститутке Катьке, которую Блок описал в поэме «Двенадцать». Агния Ивановна была в 1950-е гг. румяной старушкой, и когда учился мой муж, Долгов Николай Васильевич, она, проводя занятия у журналистов, обычно приводила примеры простых предложений такого типа: «Мышь бежит по классу» или «Долгов — староста». Агния Ивановна жалела студентов и говорила мне, что, когда идет экзамен, важно, чтобы у него было хорошее начало. Для этого она, раскладывая билеты, старалась, чтобы сверху оказались те, где вопросы были легче. И когда настроение у первых сдающих будет хорошее, то и экзамен пойдет, как по маслу. Говорила она об этом совершенно серьезно, без тени юмора. Журналисты добродушно трунили над ней. А меня она учила, как надо подниматься в университете по лестнице. Однажды, поглядев, как я иду, склонив голову, она сказала: «Надо идти, высоко подняв голову, выставив грудь, и заставлять работать коленный сустав, на каждой ступеньке выпрямляя ногу, а вы идете почти на полусогнутых! Балерины ходят так, как будто их грудную клетку подцепили краном!»

Вот такой полезный совет — и на всю жизнь. Я его часто вспоминаю, когда, согнувшись, плетусь на 5-й этаж домой.

* * *

На кафедрах филфака, кроме Л. П. Гроссмана, Н. Н. Арденса и Г. В. Курляндской, были и другие литературоведы. Например, доцент М. Г. Китайник, который темпераментно, что называется, захлеб читал спецкурс о поэзии символистов. Это про него ходила эпиграмма:

Славный Мишенька Китайник
кипятится, словно чайник.
В чем причина сей беды?
Много в Мишеньке воды.

Доцент Л. С. Шептаев интересно читал курс древнерусской литературы, а в 1944–1947 гг. был деканом. По окончании университета именно с ним мне пришлось вести учебную работу: он читал введение в литературоведение, я вела за ним практические занятия. Он учил меня строго принимать экзамены...

Свердловский литературный критик и литературовед, знаток уральской литературы, и прежде всего творчества Мамина-Сибиряка, А. С. Ладейщиков читал критику, вел спецкурс. Но лекции эти были скучноватые. Работали и школьные учителя — М. Л. Мамаева и Б. Ф. Закс. Борис Федорович Закс впоследствии стал заслуженным учителем России, а защитить диссертацию по Фейхтвангеру ему так и не пришлось (о причинах можно догадываться). Был еще у нас преподаватель Валерий Иванович Тимофеев: он написал книгу о Николае Островском, но успеха у студентов не имел, заявляя при этом: «Студенты приходят и уходят, а Тимофеев остается!» Потом куда-то исчез.

* * *

Самым близким для меня преподавателем стала (и на всю жизнь!) Лидия Арсеньевна Гладковская. О ней к 75-летию университета в 1995 г. я написала большую мемуарную статью в кафедральную юбилейную стенгазету (потом ее забрали в музей университета, а в 2000 г. напечатали в книге «Уральский госуниверситет в воспоминаниях»).

Вот сейчас я этим и воспользуюсь, чтобы и в моих записках остались следы, осталась память о Гладковской.

Был небольшой период в истории нашей кафедры, примерно пять лет (1943–1948 гг.), когда в наш город Свердловск и в наш университет приехала окончившая аспирантуру при Ленинградском университете (он был тогда в эвакуации в Саратове) молодая обаятельная девушка Лидия Арсеньевна Гладковская. Она защитила диссертацию (по Н. К. Михайловскому) и получила назначение к нам. Как молодой специалист она была чрезвычайно серьезна, при этом блестяще эрудирована, в ней чувствовалась принадлежность к ленинградской школе ученых и видна была несомненная интеллигентность коренной ленинградки.

Мы все, студенты-филологи старших курсов, полюбили ее лекции по литературе второй половины XIX в., слушали спецкурс по творчеству Чехова. Очень скоро она стала доцентом и заведующей у нас на кафедре, на которой было при этом несколько профессоров (они после окончания войны уехали). Если Л. П. Гроссман с его безукоризненной столичной респектабельностью весь был как бы из XIX в., то Лидия Арсеньевна была как-то ближе к современности. У Гроссмана в курсе лекций было больше эстетических оценок творчества писателей, у Лидии Арсеньевны — по требованиям времени — больше социологических обобщений. У меня до сих пор хранятся записи ее спецкурса по Чехову, сделанные на бухгалтерских бланках (тетради и бумага были во время войны дефицитом).

Лидия Арсеньевна вела литературный кружок, на котором бывали интересные разговоры о новинках литературы и искусства. Она была страстная театралка, любила музыку, ее отец был композитором. Однажды я делала небольшой доклад (надо сказать, не слишком блестящий) на интересовавшую меня тему о западноевропейском барокко и Микеланджело. Для доклада я подбирала в библиотеке иллюстрации. Не могу сейчас сказать, как появилась эта тема, может быть, хотелось просто отвлечься на что-то далекое. Как сейчас я понимаю, это было неким отголоском впечатлений от скульптур Микеланджело в музее изобразительных искусств. Позже я, читая известный цикл Андрея Вознесенского, вспоминала свой доклад. И всегда верила Пушкину, что гений и злодейство — вещи несовместные, и не верила, что Микеланджело убил раба-натурщика.

* * *

На лекции к Лидии Арсеньевне несколько раз приходил доцент-математик Николай Васильевич Адамов, и вот чем это кончилось: он влюбился и женился на ней. Он был разносторонне эрудированный человек, любил и понимал искусство, и вот он-то и явился рецензентом рукописного журнала, который мы готовили. В состав редакции входили историк Лев Коган, журналист Борис Павловский и я, филолог, назначенная ими быть редактором. В журнале была опубликована большая поэма Когана «Леди Гамильтон», написанная после нашумевшего одноименного зарубежного фильма. Иллюстрации к поэме были сделаны Борисом Павловским (в те годы будущего искусствоведа, члена-корреспондента АН СССР Бориса Васильевича Павловского мы называли просто Бобом). Помню цветную иллюстрацию: красивая женщина всматривается в бушующее море, стоя у балюстрады. Она ждет корабль и, конечно, его — адмирала Нельсона! Кто-то, возможно Н. В. Адамов, пошутил, что она похожа не на леди, а на колхозницу...

Наш журнал также поместил повесть начинающей писательницы Надежды Толмачёвой «Капля». Помню, там была такая наивная деталь: капля дождевая в волосах пришедшей из сада юной женщины, являющаяся какой-то психологической уликой, что ли. Словом, в журнале все было на месте, как и бывает в самостоятельном студенческом творчестве. Однако, как заметил в своем докладе «Университет во время войны» профессор Л. Н. Коган, журнал «безвестно сгинул в архивах КГБ».

Кафедра русской литературы вела в те годы большую научную работу. В 1947 г. была организована первая фольклорная экспедиция под руководством доцента Л. С. Шептаева. Лидия Арсеньевна вспоминала, что в ректорате сначала не было понимания того, что эти экспедиции совершенно необходимы филологам (можно, мол, куда не ездить, а ходить на базар и записывать). Шла война, денег на экспедиции выкраивать было не из чего, но студентов надо было готовить профессионально, в школах ждали новых учителей. Фольклорные экспедиции вскоре стали постоянными.

* * *

В 1945 г., когда мы оканчивали 5-й курс, в университетах страны была впервые введена защита дипломных работ. Это сейчас у нас отработана методика написания и защиты дипломов (я вот несколько лет уже веду спецсеминар дипломников), а тогда все было впервые. Выбрав тему «Обыкновенная история» И. А. Гончарова и традиции западноевропейского романа», я работала под руководством доцента Л. А. Гладковской. Тема была широкая, но мне это нравилось. Я занялась и Бальзаком, ведь «Утраченные иллюзии» в жизни часто становятся «Обыкновенной историей». Мне нравились и Александр Адуев, и Люсьен де Рюбампре, и юмор Гончарова; жаль, что тогда еще не был создан блестящий спектакль «Обыкновенная история» с О. Табаковым и М. Казаковым в главных ролях!

Работалось с увлечением, каждый день мы из своего общежития на ул. 8 Марта, 3, переходя дорогу, переходили в так называемый «партпрос» (на углу Площади 1905 г.). Этот старинный особняк со своей историей, с зеркальными каминами, близкий и удобный, был нашим домом во время написания дипломных работ. Потом там размещалась редакция «Уральского следопыта», а сейчас — Дом актера.

Законченную работу надо было оформлять, переписывать, но красивых дипломных папок еще не водилось, как и компьютерного набора тогда не было, и по ночам в общежитии я переписывала работу в простую нелинованую толстенькую, больше обычной по формату, тетрадку (не помню, кто мне ее дал) и пользовалась транспарантом. Недавно (спустя 50 лет!) В. М. Паверман увидел в литературном кабинете эту мою работу и удивился — на фоне современных, красиво оформленных и напечатанных, она выглядела как пришелица с войны.

Оппонентом на защите у меня был доцент Л. С. Шептаев. Он в своем отзыве одобрил работу и оценил на «5», конечно, сделал и замечания. Помню, его претензия заключалась в том, что в моей дипломной работе чувствуется влияние концепции И. Тэна о воздействии среды на литературного героя (подразумевалась эволюция Александра Адуева из «Обыкновенной истории» от романтика — к трезвому и холодному расчету). Мне было легко возразить на это, так как Тэна я в то время не читала (в чем и призналась). А проблему

«человек и среда» (человек «заеден» средой, по И. Тэну) принимали ученые того поколения, к которым принадлежал Шептаев. Наше поколение не так прямолинейно думало об этом.

Я получила диплом с отличием; в университетской газете «Сталинец» от 1-го июня 1945 г. появилась целая полоса о первом выпуске историко-филологического факультета. Нас было всего 16 человек. Профессор С. З. Каценбоген, председатель ГЭК (государственной экзаменационной комиссии), писал: «По уровню знаний, зрелости мысли, широте кругозора выгодно выделяются из выпускников-историков тов. Коган, из литераторов — тов. Шпаковская, из лингвистов — тов. Недоспасов. Все они оставлены при университете для подготовки к научной деятельности». Стиль, как всегда, отвечал эпохе: все мы названы не по именам, а просто «тов.» (т. е. товарищ). Было и решение ГЭК о том, что наши работы должны быть напечатаны в «Ученых записках» университета, но это, к сожалению, не осуществилось.

* * *

В День Победы 1945 г. у нас, как и везде, было всеобщее ликование, митинги, а в столовой университета было фантастическое торжество, и, наверное, весь наличный спирт химфака был выпит, несмотря на бедную закуску из свеклы и еще чего-то. Много позднее, на старости лет, в одной поздравительной открытке из Ленинграда Лидия Арсеньевна писала мне о «священном Дне Победы» так: «У меня к нему отношение особое. Он ассоциируется со Свердловском, весной 45-го г., когда вместе со счастьем окончания войны я испытывала особый душевный подъем: рядом любимый муж, дорогие мне люди, которых я тогда впервые узнала, и увлеченность большой ответственной работой, к которой тогда уже прикипела душа». (Небольшой комментарий: Лидия Арсеньевна в 1945 г. вышла замуж, стала завкафедрой, у нее была большая ответственная работа, и мы, ее ученики, которых она выводила «в люди».)

* * *

Когда после защиты кандидатской диссертации я начала работать на кафедре литературы в Уральском государственном университете, заведующим кафедрой у нас был Владимир Владимирович Кусков, приехавший из Москвы по распределению после окончания

аспирантуры. Это было, как потом подтвердила жизнь, удачное «распределение»: Владимир Владимирович проработал в Свердловске с 1949 по 1967 г., то есть 19 лет! Его спокойный уравновешенный характер, внимание к людям создавали доброжелательную атмосферу на кафедре для всех коллег. Кусков учился в ИФЛИ, а это очень авторитетное элитарное учебное заведение. Окончив его в 1941 г., он прямым ходом попал на войну. Воевал, имел награды, был армейским разведчиком, был под Сталинградом (где от цинги потерял много зубов). После войны Владимир Владимирович окончил аспирантуру при МГУ, будучи учеником Николая Каллиниковича Гудзия, известного специалиста по древней литературе.

К нам В. В. Кусков приехал, еще не защитившись, и только в 1952 г. состоялась защита, тема его диссертации — «“Степенная книга” как литературный памятник XVI в.». И несмотря на отсутствие ученой степени, стал заведующим кафедрой, а на кафедре были многочисленные доценты, такие, как Григорий Евсеевич и Анна Владимировна Тамарченко, а потом в 1950 г. и мы с Диной Филатовой, свежееиспеченные кандидаты наук появились. Честолюбивую Дину задевало, и она спорила с Кусковым, когда он запланировал ей в поручениях читать древнерусскую литературу у журналистов, а филологов взял себе, и она добилась своего, говоря, что ведь она уже защитилась, а он еще нет.

Я с Владимиром Владимировичем не спорила (может быть, еще и потому, что он мне нравился). И мы делили курс истории русской литературы XIX в., то есть читали по очереди, чередуя один год у журналистов, другой — у филологов. В. Кусков был ученый московской школы, я — ленинградской. Помню одно первое обсуждение его лекции по Н. А. Некрасову. Огромный материал лирики поэта, обилие стихотворений выглядели несобранными, буквально рассыпались, и концепция не просматривалась. И тут мне помогла книга В. Е. Евгеньева-Максимова о Некрасове, которую мы когда-то на аспирантском семинаре в ЛГУ обсуждали. Это была гениальная композиция, особенно если сравнить с бесформенными сборниками стихов многих современных Некрасову поэтов. Вот все это я и высказала на кафедре Кускову, и он согласился, а Анна Владимировна Тамарченко сказала: «Вот вам и ленинградская школа!» Дело в том, что москвичи ревниво

относятся к ученым-ленинградцам, порой их не жалуют, а порой не в курсе их достижений.

Ревнивое отношение к ленинградской школе (название, конечно, условное) я наблюдала, когда была на ФПК в МГУ: завкафедрой русской литературы В. И. Кулешов порой обнаруживал «соревновательный» дух, желание «обскакать» ленинградцев, например, раньше их напечатать тот или иной новый материал.

Но вернемся к В. Кускову. Он вскоре стал секретарем партбюро факультета и, конечно, постоянно по всем политическим вопросам обязательно выступал. Как порядочный человек он стремился быть не казенным, а человеческим. Студенты его любили, он ездил (как и все мы) в колхоз на уборку картошки или «на морковку». О, эти картофельные одиссеи на полях Красноуфимского района! И Кусков с большим нарывом на руке, больной, ехал, и из-под снега мы копали картошку и в дождь, и в грязь, в сырой одежде и дырявой обуви, жили в холодных непригодных помещениях (помню, я спала на лавке в большой комнате вместе со студентами). И при этом еще устраивали вечера самодеятельности! Владимир Владимирович любил шуточные песни, студенческий городской фольклор. Например:

Венецианский мавр Отелло
одну красотку навещал,
Шекспир узнал про это дело
и водевильчик накропал.

Пели и про Льва Николаевича и Софью Андреевну, и «А ну-ка, убери свой чемоданчик» и т. п. Недавно в журнале «Вопросы литературы» (1996. № 4) в статье Б. Сарнова приведено множество подобных примеров, а статья называется «Интеллигенция поет блатные песни».

Нынче летом (1998 г.) вместе с Валентином Владимировичем Блажесом вспоминали, сидя в деканате, как появился у нас В. В. Кусков. Первое впечатление от его лекций: суховато, академично — так казалось студентам того курса, на котором учился В. В. Блажес. Но на экзаменах В. В. Кусков не был столь строг, напротив, проявлял человечность и понимание студенческих проблем. Есть фотография, где он со студентами сажает деревья у общежития. А когда он собрался уезжать в Москву, то стал готовить Блажеса себе на замену читать

древнерусскую литературу, побывал у него на лекции, сделал замечания и, что называется, «благословил».

Вспоминая нашу кафедру при В. В. Кускове в те нелегкие 1950-е гг., я думаю, что когда не было у нас дач, машин и болезней, а были молодость, энергия, поэзия, мы, несмотря ни на что, были счастливы. И в мрачных длинных коридорах бывшей бursы (здание университета по улице 8-го Марта, в прошлом Екатеринбургская духовная семинария, ныне одно из зданий СИНХа) появлялись любимые коллеги и симпатичные студенты, улыбающиеся тебе навстречу. Кусковы жили рядом с этим зданием, и, проезжая сейчас мимо СИНХа, я не могу не вспоминать наш филфак, квартиру в том низком сером одноэтажном доме, где была типография и жили преподаватели и куда мы забежали к Кускову, чтобы порыться в книжках его большой библиотеки...

Наши кафедральные сборища организовывались по случаю юбилеев или дней рождения. У меня есть одна фотография, где Владимир Владимирович в гостях у Кругляшовых. Задушевные беседы случались в литературном кабинете, где царствовала Татьяна Николаевна Мыслина. Лучшего лаборанта у нас на кафедре не было. Студенты приходили к этой сердечной одинокой женщине поплакаться в жилетку. Она порой могла сказать: «Вам, преподаватели, не лаборанты, а няньки нужны!» Она могла написать на дверях кабинета плакат: «Чайхана — пей до дна!» и устроить посиделки. Была очень неравнодушна к Владимиру Владимировичу, просто боготворила его. Он угощал своим фирменным коньячком — ВККВ (был такой!).

Владимир Владимирович как завкафедрой организовывал взаимопосещение лекций, и ко мне однажды пришли сразу трое преподавателей-мужчин: В. В. Кусков, И. А. Дергачёв, Б. А. Базилевский. Была первая лекция о Чехове, его личности и таланте, становлении творчества. Кусков на обсуждении сказал: «Роскошествуете!» Имелось в виду то, что приводилось много примеров юмористических забав Чехова. Дергачёв сказал, что не стоит приводить цитату из статьи И. Эренбурга о современности Чехова и, тем более, брать ее в качестве авторитетной оценки. Это то, что запомнилось из критики, а в целом, конечно, все было одобрено. Но, кажется, я и до сих пор не согласна ни с тем, ни с другим. О веселом молодом Чехове, о созревании его как юмориста я старалась читать так, как это делал Г. А. Бялый

(мой учитель), и это всегда хорошо воспринимается студентами, это веселая часть лекции. А об Эренбурге надо сказать, что Дергачёв его не любил, но слова о современном звучании Чехова очень важны...

С Владимиром Владимировичем мы поддерживали отношения и после того, как он уехал работать в МГУ. Бывало, он наезжал к нам в Свердловск, читал лекции о Евангелии, о русской церкви, рассказывал о своих зарубежных впечатлениях (Финляндия, США), интересно отвечал на вопросы.

Однажды я узнала, что у него были репрессированные родственники, отец его был, кажется, священником. А случилось так: во второй половине 1950-х, когда шла реабилитация репрессированных в 1937–1938 гг., мы как-то на демонстрации шли в одном ряду: В. В. Кусков, я и Л. А. Кищинская. Разговорились, вспомнив своих отцов, оказывается, все это пережили. После смерти Сталина и развенчания его культа можно было и на демонстрации поговорить о том, о чем болела душа.

Докторскую диссертацию Кусков защитил лишь в 1980 г. Тема — «Жанры и стили древнерусской литературы XI — первой половины XIII в.». В письме ко мне он писал об этом: «Я никак не могу очухаться после защиты. Тяжело это в 60-то лет! Надо было бы раньше. Ну, да что поделаешь». У Кускова много было учеников: среди наших могу назвать, кроме В. В. Блажеса, еще В. А. Липатова, Г. В. Аникина и др.

Старые «кафедралы» любят приезжать в Москву — то на ФПК, то в командировку, то на защиту. Я была в МГУ на факультете повышения квалификации несколько раз. И всегда встречалась с Владимиром Владимировичем. Он читал на ФПК лекции, я иногда бывала у него дома. К его 60-летию я прислала ему длинное лирико-юмористическое письмо с воспоминаниями (прося прощения «за все, в чем был и не был виноват»). А однажды моя дочка Катя с мужем Андреем ездили в Москву, и я дала им, так сказать, рекомендательное письмо к Кускову, прося «любить и жаловать»; передала наши кафедральные сборники «Ученых записок». Андрей был когда-то знаком и дружен с сыновьями Кусковых (один из сыновей у них погиб).

Кроме древнерусской литературы, Кусков, работая у нас, не мог не интересоваться и уральской литературой, изучением творчества Мамина-Сибиряка. Он читал курс «История русской литературы XIX в. (2-я половина)», но в Москве этим уже не занимался, хотя

и писал статьи о Л. Толстом, Достоевском. Но главное его дело — старая русская литература. Его учебник «История древней русской литературы» выдержал пять изданий, был удостоен в 1988 г. Ломоносовской премии 1-й степени в МГУ. У меня хранится эта книга с дарственной надписью, и дочка наша по ней занималась и сдавала экзамены на факультете журналистики, и мы почитывали. А недавно, в 1997 г., занимаясь с абитуриентками дома, я давала им «Слово о полку Игореве», опираясь на книгу Кускова, на разные переводы, вплоть до нашего Андрея Комлева.

* * *

В 1952 г. очень важным событием в жизни филфака был 100-летний юбилей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, который широко отмечался в стране. Готовилась большая конференция, предполагались доклады приезжих «маминистов». Приехали племянник Мамина Б. Д. Удинцев с докладом о письмах писателя и М. К. Куприна-Иорданская с воспоминаниями о Мамине. Я готовила доклад на тему: «Мамин-Сибиряк и Салтыков-Щедрин». Выступление мое на конференции было первым в моей жизни участием в большом научном форуме. Я еще не умела выступать кратко и немного затянула, что было, конечно, огорчительно. В. В. Кусков меня утешил, сказав, что на конференции бывает важной не столько суть доклада, сколько его краткость и умение вовремя и эффектно остановиться. В городе и по области я читала лекции о Мамине по линии общества «Знание». Текст лекции обсуждался на кафедре, был приглашен Е. А. Боголюбов, к тому времени автор статей и комментариев (его монография о Мамине-Сибиряке появилась лишь в 1953 г.). Боголюбов с улыбкой заметил у меня одну неточность: там, где я писала о Мамине, «убеленном сединами», так сказать было нельзя, он был еще молод!

* * *

В Уральском университете всегда заботились о профессиональных качествах преподавателей, о повышении их квалификации. Никогда я не получала отказа в предоставлении ежегодных командировок в библиотеки и архивы Москвы и Петербурга. В 1970-е гг. я дважды оказалась на ФПК в МГУ — в 1971 и 1977 гг. на кафедре русской литературы филфака. Какое это счастливое время — работать

на себя, учиться! Я всю жизнь любила учиться. Раньше я хорошо знала ленинградскую школу ученых, в МГУ ближе познакомилась с московскими филологами. У меня появились новые коллеги из разных вузов, я ближе узнала заведующего кафедрой Василия Ивановича Кулешова, умницу и насмешника, прошедшего войну. У них на кафедре появился молодой Владимир Борисович Катаев, чеховед. Я ходила к нему на чеховские семинары, позднее переписывалась с ним. Когда он сменил профессора Кулешова, став завкафедрой, он прислал мне свою книгу о Чехове, просил написать рецензию.

По традиции пребывание в МГУ заканчивалось банкетом с участием преподавателей, с подведением итогов и пр. Я как староста группы была занята организацией банкета, собирала деньги, заказывала меню в ресторане университетской гостиницы. Подготовила также стихотворные цитаты, разбитые на две строчки, положив на каждый прибор, чтобы присутствующие могли найти свое место, найдя продолжение стихотворения. Были простые примеры, например, из Н. Заболоцкого: начальные строки «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь...» и продолжение: «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». П. Г. Пустовойт очень быстро нашел продолжение и свое место, а вот Василий Иванович Кулешов очень долго не мог понять и сориентироваться. Я ему положила цитату из стихотворения Глеба Горбовского «Заливает глаза, как течением времени, влага». С этими строчками Кулешов долго ходил вокруг стола, не находя окончания в рифму: «Не покиньте меня в этой жизни, любовь и отвага».

* * *

Среди моих коллег припоминаю такую яркую личность, как Борис Марьев. Наше общение не было длительным. Он недолго работал на нашей кафедре. Конечно, он был прежде всего поэтом, а потом уже преподавателем. У меня есть его сборничек стихов 1983 г. «За всех живых». В его биографии, как и положено поэту, есть необычные периоды. Так, например, он даже работал следователем. Одно его лирическое произведение называется «Дело о соловьях». Он носил бороду, что по тем временам было редкостью, даже в некотором роде вызовом. Это отразилось и в его стихах:

Я несу по городу
Яростную бороду.

У нас на Руси бороды имеют свою историю. В петровские времена царь велел стричь боярам их бороды, которые тогда были символом архаичности. А в другие времена прическа à la Герцен с длинными волосами и бородой была знаком вольнодумства. У Марьева — то же самое:

А стих мой
Не про бороду,
Когда думать головой...

Мы как-то с Николаем (моим мужем) пригласили его к нам посидеть у камина и почитать стихи. Однажды он принес мне какое-то стихотворение на античный сюжет с героиней Лесбией и спросил о моем впечатлении. Мне все понравилось, кроме... имени героини. Почему, не знаю. Наверное, из-за ассоциации с лесбиянками. Его это очень рассмешило. Он был очень талантлив, а умер рано. На его похоронах Михаил Адрианович Батин сказал: «Умер без очереди, “поперек батьки”».

* * *

Мои коллеги — и в этом надо отдать им должное — весьма внимательны к научному творчеству друг друга и быстро реагируют на все изменения. Вот стоило мне только перестать читать спецкурс о Тургеневе и обратиться в статьях к злободневной в 1960–1970-е гг. проблеме народнической литературы, о которой шли дискуссии, как Валерий Маркович Паверман с Борисом Марьевым уже сочинили такое новогоднее поздравление, подкрепив его выводами о «новом творческом подходе»:

От тургеньевских роз благородных
Голубых розоватых кровей
Вы ушли по дорогам народным
К миру кляч, и онуч, и лаптей.
С Новым годом, с Новым годом,
С новым творческим подходом!

Сон о стихах

Вот с 1970-х годов прошло уже 30 лет (запись датирована 26 декабря 2003 г.). Как изменяется человек за 30 лет! А сколько перемен произошло в жизни нашей России?! И как все это описать? Ночами долго не могу заснуть, и все думаю, думаю... Как там у Пушкина? Какие сны снятся, когда отступает «жизни мышья беготня»? У меня как у филолога голова набита стихами. И вот однажды приснилось мне, что я пишу во сне статью о стихотворении одного удивительного уральского поэта, недавно умершего Алексея Решетова. Наша известная поэтесса Майя Никулина назвала его серебряным голосом уральской поэзии. У этого бывшего шахтера есть удивительно тонкие стихи о женщинах. Одно его стихотворение «Гражданка N» я знаю наизусть. Правда, оно не просто лирическое, а с оттенком грусти.

— Тебе слабо писать, как Пушкин, —
Сказала мне гражданка N.
— Слабо, — ответил я подружке. —
Но ведь и ты не Анна Керн.
Не мимолетное виденье,
Не гений чистой красоты,
Ты заблужденье, наважденье,
Змея с ушами — вот кто ты!
— Ах, так! — обиделась подружка. —
Я покажу тебе змею!
И вот уже летит подушка
В седую голову мою.
— Не надо! Ни стихов, ни прозы
Не буду я слагать вовек. —
И я целовываю слезы
С ее ланит, с дрожащих век.

Так вот, во сне я писала статью о нем, переделывая, уточняя, комментируя слова. Хотелось найти лучший, наиболее точный вариант. Вот заглавие, как его понять? Ведь речь не идет о гражданских проблемах. В нем, этом заглавии, есть оттенок шутливости, и речь идет об эстетических вопросах, о том, может ли современный поэт писать, как Пушкин. Поэт признается, что ему это «слабо», но все стихотворение построено как диалог поэта с подружкой — гражданкой N, музыой

поэта. Разговор в постели. Естественно возникает сопоставление подружки с Анной Керн, появляются цитаты из Пушкина, и рядом со «слабó» подружки возникают «мимолетное видение» и «гений чистой красоты» пушкинской жизни. Образ гражданки N снижен: «ты наваждение, заблуждение, змея с ушами — вот кто ты!» Не похожая на Анну Керн подружка обиделась, и «вот уже летит подушка в седую голову мою».

Удивительна и трогательна развязка этого эстетического спора:

— Не надо! Ни стихов, ни прозы
Не буду я слагать вовек. —
И я сцеловываю слезы
С ея ланит, с дрожащих век.

Так рядом со «слабó» в лексике поэта появляются «ланиты» и грустно-насмешливая улыбка над самим собой...

* * *

Теперь маленькое отступление, датированное 2004 г. На днях мы с Л. М. Слобожаниновой разбирали письма наших старших коллег — Л. С. Шептаева, В. В. Кускова, А. К. Базилевской и др. Поскольку у меня серьезные проблемы со зрением, то отобранные письма читала Лидия Михайловна.

Вот, например, такое письмо Кускова:

Дорогая Елена Антоновна!

Поздравляю вас и все ваше семейство с Новым годом! Желаю вам здоровья, семейных радостей. Главное же пожелание — это всеобщее — мира! Чтобы в этом безумном мире сохранилось мирное небо и мирная земля.

Как вы живете? Чем занимаетесь? Я вот тоже думаю, не пойти ли мне по вашим стопам. Хватит уже трудиться и обременяться, тем более, что труды праведные встречают не одобрение, а порицание и хулу. Значит, пора уходить, нечего занимать чужое место, и пора также пополнить сонм пенсионеров. Желаю вам всяческого благополучия.

Это грустное письмо написано в доперестроечные времена начала 1980-х гг., когда Кускова критиковали за его идею о значении

русских монастырей в развитии просвещения. Все это было несправедливо, и Кусков еще много лет работал и в МГУ, и за границей...

* * *

Сейчас конец 2000-го г. Когда я пишу эти записки, на исходе високосный год, и не только он, но и последнее столетие, а значит, и конец целого тысячелетия. А кое-кто говорит и даже пишет о конце света — так много несчастий, катастроф, смертей, затонувших подводных лодок и разбившихся самолетов, пожаров, землетрясений и терроризма. Многое предсказано Нострадамусом. И как еще мы живы! Идет война в Чечне, гибнут молодые наши мальчики. И вот так мы оказываемся на пороге третьего тысячелетия...